Юз Алешковский

Перстень в футляре

Рождественский роман

Юз Алешковский

Перстень в футляре. Рождественский роман

«Издательские решения»

Алешковский Ю.

Перстень в футляре. Рождественский роман / Ю. Алешковский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-837240-7

Сюжет прост: в рождественскую ночь пьяный москвич, герой романа, попадает в ряд передряг. Едва не гибнет, но к рассвету еле живой добирается до храма, где находит спасение. Это — внешнее. Внутренний сюжет — история становления парадоксального характера главного героя — псевдофилософа Гелия. Классово происходящий из «пролетарской буржуазии» — выкормыш благополучной партийной среды и семьи, — половозрелым юношей он встречается в бассейне «Москва» с девушкой Ветой, на которой намерен жениться.

ISBN 978-5-44-837240-7

© Алешковский Ю.
© Издательские решения

Содержание

1	6
2	7
3	8
4	10
5	12
6	14
7	16
8	18
9	23
10	24
11	26
12	30
13	33
14	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Перстень в футляре
Рождественский роман
Юз Алешковский

© Юз Алешковский, 2017

ISBN 978-5-4483-7240-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1

Мать нашего героя была физиком, спецом по сверхнизким температурам. Она и назвала своего сына Гелием в честь замечательного элемента – покорителя низшей точки замерзания вещества.

Она была женщиной тихой, погруженной целыми днями, а иногда и ночами в мир своих сверхнизких, строго засекреченных температур, и после отлучения малыша от груди не принимала почти никакого участия в делах его воспитания, кормления и ублажения. Все эти заботы лежали на одной из бабушек, горожанке. Летом Гелия отправляли к бабушке деревенской.

Но мы оставим в стороне от повествования многие поэтические подробности детства, отрочества и юности нашего героя. Скажем только, что вырос он в семье не то чтобы хорошо обеспеченной, но с первых же дней после октябрьской катастрофы умело обогнавшей время и обосновавшейся в одной из номенклатурных нишечек партаппаратной хазы материальной базы первой фазы.

В нишечках таких базировались самые крупные паразиты и все их шустрорукие шестерки. Они набились туда во время враждебного самоубийственного вихря, который смел с лица земли не легкий, но вполне приемлемый, то есть естественно трагичный, а главное – это сразу же и открылось людям легко увлекающимся, революционно настроенным, но в общем-то нормальным – вполне пристойный для грешного человеческого общества порядок жизни.

В той нишечке Гелий с рождения и ошивался. Правда, это обстоятельство не сделало его пижоном и вовсе не сообщило его натуре черт омерзительно плебейского снобизма, столь свойственного чуть ли не всем представителям быдловой касты властительных лысых клопов, усатых тараканов, навозных жучков, лобковых вшей, постельных блох, трупных червей и прочих многочисленных паразитов Системы.

Наоборот, он был общителен и вдумчиво любопытен, мог начистить рыло обидчику, хотя всегда производил на некоторых школьных учителей и людей старше себя впечатление не по годам вяловатого, словно бы чем-то недовольного молодого человека.

Казалось, что он тоже, вроде них, виртуозно вытеснил из психики желание блевануть от тошнотворности духа времени, но пребывает в тоске и страхе, что прибитый блевотный спазм повторится вдруг, скажем, на комсомольском собрании и тогда… об этом лучше было не думать вообще.

Если и изводило Гелия какое-либо внутреннее смущение, вызванное так называемой закомплексованностью, то это лишь из-за уменьшительного домашнего имечка Геля, отчества Револьверович и фамилии, явно происходившей от партийно-блатной кликухи Серьез. Поэтому, знакомясь, он мрачно сообщал: «Меня зовут Геша».

Он явно предпочитал Моцарта легкой музыке советских композиторов. Запись «айне кляйне нахтмузик» мог слушать по многу раз в день. Родители преподнесли ему однажды сразу дюжину этих пластинок, поскольку они у Гелия слишком быстро заигрывались.

Заводя любимую свою серенаду, он скорее даже вглядывался пытливо и завороженно в ее на что-то намекающий состав, чем вслушивался в звучание частей или смаковал чутким внутренним слухом их музыкальные подробности. Лицо его становилось в такие минуты лицом человека, изведенного мукой нетерпеливого припоминания чего-то известного, чего-то очень знакомого, очень близкого, чуть ли не родственного, но вдруг пропавшего в дебрях памяти и с издевательским лукавством приглашающего к игре в прятки…

2

Вот она-то, любимая его музыка, верней, мелодическая тема одной из частей моцартовской серенады, звучала в мозгу Гелия в рождественскую ночь, когда замерзал он в уличном сугробе, в центре Москвы.

Гелий замерзал, но из-за музыкального отрывочка из «айне кляйне нахтмузик», звучавшего в мозгу столь же навязчиво, как и под иголочкой, попавшей в случайную колдобинку на ущербной пластинке, у него и в мыслях не было выползти на проезжую часть, пасть на колени перед одной из редких в тот час, но все ж таки проносившихся мимо машин или, по крайней мере, вызвать по телефону-автомату либо «скорую помощь», либо ментов.

Если и было у него в те минуты какое-нибудь отчаянное желание, то это было желание не спасения, а разгадки – хотя бы за мгновение до смерти! – истинного значения музыкального состава любимого своего сочинения. Того значения, каковое намеренно было сообщено ему гением Моцарта или же организовалось непредвиденным образом как бы само собой. Подобные чудеса, к сожалению, чрезвычайно редко случаются не только со звуками, но также со словами, обретающими – не без любовного дозволения истинно великодушного артиста и творца – момент свободного саморазвития…

Гелий замерзал, а кусочек из «айне кляйне нахтмузик» все острей и острей вонзался в его мозг, и ему уже непонятно было: он ли это допытывается, собрав остаток телесных и душевных сил, до явно на что-то намекающей сути музыкального значения или сама она, музыка, требует от него какого-то последнего разрешительного признания?…

Замерзающий иногда забывался, и тогда ему казалось, что само Время его жизни, в котором он без всякого ужаса ясно различал настроение предотъездных сборов в неведомое, взялось за беспорядочную инвентаризацию прошлого. Это оно ворошит многое из напрочь забытого, укладывает в темную глубину невидимого баула что-то незначительное, какие-то пустяки, вроде тоски по стыренному дружком-соседом конфетному фантику, но отбрасывает к чертям собачьим кое-что из казавшегося некогда весьма ценным…

3

В детстве Гелий кроме музыки любил чтение. Со школьной скамьи обожал волшебное взаимодействие всех частей внутри всевластных фигур формальной логики, сообщавших миру доступных ему явлений черты гармоничной причастности к Высшему Порядку. Опекался этот вселенский порядок, на его взгляд, брачною, закаленной в веках парой – Причиной и Следствием.

Парочку эту легендарную он бессознательно увязывал с образами обоих родителей, хотя в их семье все обстояло как раз наоборот, то есть всепорождающей Причиной определенностей жизни являлся папа, Револьвер Фомич.

Вообще, ничто не доставляло психике Гелия таких нудных томлений, как маята ума, связанная со всякого рода определенностями.

Было замечено, что еще в первые месяцы жизни, при отсутствии в уме и опыте критериев сравнения, в существе младенца проявлялись весьма странные в таком возрасте «бухгалтерские» задатки. Например, он долго, сморщив в мучительном сомнении личико и явно что-то там прикидывая в своем умишке, выбирал, какую ему в это вот кормление предпочесть грудь: левую или правую. Взяв, скажем, левую, не начинал жадно чмокать, хотя корчился и багровел от аппетита, а как бы сомневался: не ошибся ли? не продешевил ли? не двинул ли сам себе фуфло? чем, собственно, я руководствовался в своем выборе?

И так во всем. Манка – гречка?… Кино – театр – концерт?… Крым – деревня?… Валя – Лида?… Трамвай – автобус – метро?…

Нельзя сказать, что его всегда так уж изводило попадание в ситуацию выбора, в которой каждый из нас оказывается по нескольку раз в день, сам того, кстати, не замечая. В былые времена это случалось с нами не только в самолете, в кресле дантиста, но также в тюрьме и перед избирательными урнами сталинской эпохи, где чрезвычайно ограничивались фантазии и капризы нашей свободной воли и где, конечно, никуда было не деться от всего того, что вам навязывалось обстоятельствами, бесчинствующим режимом да волей случая.

Чаще всею Гелий обращал какой-либо выбор в игру. И тогда его психика целиком попадала во власть расчета. Целью при этом становился не конечный результат – он бессознательно отодвигался куда-то на задний план, – а смакуемое продлевание расчетного процесса. Такого рода смакование как бы превращало один какой-либо выбор в несколько совершенно неожиданных, самостоятельных проблем. А уж из-под этих проблем, как из-под опоросившихся хрюшек, выползали поросята выборов новых, от которых просто совсем уже опускались руки.

Это временами изводило Гелия до потери всех сил и даже нежелания жить, но одновременно сообщало его разуму весьма краткую иллюзию всесильного начальствования над случаем в пределах судьбы момента. В такие минуты вечно ни в чем не уверенный разум воображал самого себя как бы капитаном корабля, потерпевшего кораблекрушение и идущего ко дну, но все ж таки – капитаном. Или же Сталиным, продувшим Гитлеру дебют омерзительной обоюдогрязной игры и малодушно закрывшимся в сортире в первые дни Отечественной войны, обдриставшимся со страху, но все ж таки – Сталиным.

Очень часто, насладившись всеми сомнениями, маневрами ума, неожиданными пристрастиями души и всяческими психологическими тонкостями игровой комбинаторики, он чувствовал себя опустошенным и разом – к большому изумлению ближних – предавал все свои расчеты.

Отступал, линял с позиции выбора, как бздиловатый генерал-штабист из кольца вражеского окружения, то есть с ходу же попадал в плен к выбору иному и тогда горько сожалел, что не выстоял до конца, поступил так вот, а не эдак. Потом он месяцами доискивался до первоначальных корней очередного своего бухгалтерского конфуза.

Но умел он и легко освобождаться от тягостного умственного гнета, вообще отказываясь от выбора или препоручая совершить его за себя, скажем, шоколадной конфете и мармеладке, Тане и Мане. И тогда во рту у него как бы сама собой оказывалась мармеладка, а на диване появлялась вдруг Таня.

Правда, в такие моменты Гелий производил на людей, а может быть, и на кондитерские изделия впечатление ребенка, юноши, мужчины, несколько недовольного, несколько раздосадованного происшедшим и угрюмо затаившего в уме своем мысль о непонятно чьих каверзах да подковырках…

Наконец, после двухлетней напряженной работы всех своих «внутренних разведывательных органов» и семейных дискуссий насчет: чекист – физик-теоретик?… то и другое, плюс Внешторг?… дипломат – врач-диетолог сборной Союза по фигурному катанию на коньках?… – Гелий, неожиданно для учителей и родителей, остановился на исторической науке.

Он выбрал изучение истории, ее непреложных закономерностей и ее философии, с целью постепенного погружения в узкую область исследования роли частных случаев в многослойной, как пирожное «Наполеон», структуре исторических событий. Его также привлекал анализ количественных характеристик всего случайного, которое так или иначе образует если не образ, то качество случившегося, заслуженно, а иногда и не заслуженно получающего в истории статус незабываемого события.

4

Но все вышло, к сожалению, так, что с первого курса пединститута имени Ленина Гелий Револьверович Серьез присмотрел себе – не по своей, это надо подчеркнуть, воле – «очень перспективную карьеру» борьбы с Богом, с Богословием, со всем Небесным Воинством, со священнослужителями всех конфессий, с рядовыми верующими и, разумеется, с религией как таковой.

Произошло это печальное происшествие в день поступления в вуз. Вечером у Гелия состоялся важный разговор с отцом, одним из главных воротил комбината питания высшей номенклатуры ЦК КПСС. Они сидели в отдельном кабинете «Праги». Помянув в очередной раз внезапно ушедшую от них жену и мать, вспрыскивали важную веху в жизни Гелия…

К знаменательному этому разговору мы еще непременно вернемся, поскольку с него-то все, видимо, и началось. Во всяком случае, сам в сугробе замерзающий, разбитый Гелий возвращался к нему как к лукаво-роковой первопричине и началу всех уродливых бед своего существования…

После того кабацкого разговора утекло немало лет. Все случилось так, как спланировал Револьвер Фомич с молчаливого согласия Гелия. Решение любопытной, но, как всегда ему казалось, маловажной проблемы «Бог есть или Его нет» он как бы перепоручил отцу, считавшемуся в семье наследственным спецом по «мистике происхождения мертвой природы, белковых тел и деловых обстоятельств жизни в первичном бульоне».

Гелий специализировался в аспирантуре пединститута на разного рода проблематике так называемого научного атеизма. Ни любви, ни интереса ко всей этой хреновине он не испытывал.

Диплом, а потом и кандидатскую сочинил для него поп-расстрига, вышибленный из круга церковной жизни за целый ряд непростительных для священнослужителя грехов и продажу шведскому дипломату уникальной иконы шестнадцатого века. Точно так же и с тою же легкостью Гелий перепоручил бы другому человеку, скажем, провести первую брачную ночь со своей фиктивной супругой.

Диссертация, сочиненная нечистоплотным аферистом, называлась очень романтично, на взгляд Револьвера Фомича и самого будущего кандидата исторических наук.

Штурм небес как основной методологический принцип атеистического воспитания советской художественной интеллигенции в свете последних решений партии и правительства на примере антирелигиозной обработки членов Московской писательской организации.

Года три с лишним Гелий болтал с писателями, поэтами и критиками то в питейных заведениях ЦДЛ, то у них на кухнях или в домах творчества о том, о чем болтают за бутылкой московские интеллигенты, считающие себя прирожденными духовными существами, унаследовавшими столь уникальные личностные качества не от кого-нибудь, а от легендарных русских мальчиков великого Достоевского, бившихся в многочисленных российских трактирах над решением главных вселенских вопросов, но затем, после октябрьской катастрофы, трагически отвлекшей их от замечательно праздных и полухмельных метафизических бдений, перенесших эти свои неумолкающие, но уже во многом конспиративные бдения на печальные частные кухоньки…

Защита прошла блестяще. Вспрыскивали ее в том же кабинете «Праги». Правда, при утверждении в ВАКе кто-то счел необходимым «удалить» из названия выражение **«на примере членов»**, поставив точку после **«правительства»**.

Лет пять Гелий трудился в хитром каком-то отделе Комитета по делам религий при СМ СССР. Одновременно утверждался как крупный теоретик научного атеизма в лекторской номенклатуре общества «Знание».

Разумеется, он частенько захаживал в ЦДЛ, поскольку премило проскочил в члены СП через секцию критики, а также начал богатеть и обвальяживаться…

5

Однажды папа Револьвер познакомил неразборчиво блудившего сына, вконец запутавшегося чуть ли не в тройной постельной бухгалтерии, с дочерью заведующего одного из отделов ЦК.

Молодые люди часто ходили в московские театры, на генеральные репетиции пьес, подлежавших неотвратимому запрещению.

Часами иногда не вылезали из самых тайных запасников столичных музеев, где Веточка восторженно просвещала Гелия насчет совершеннейшей прелести полотен и скульптур отечественных наших гениев – ярых врагов соцреализма. Сиживали в ложах концертных залов, на выступлениях знаменитых виртуозов и лучших оркестров мира.

Словно бы чуя ложный настрой Веточкиных умственных вкусов, словно бы угадывая в душе ее почтительное расположение к штурмуемым Небесам и ко всем этим, частично им опровергнутым догматическим мифам Священного Писания, Гелий даже не заикался о вызывающе гордой своей профессии и не выказывал, конечно, в беседах с девушкой дерзкого своего научного профиля. Ибо Гелий был совершенно влюблен. Главное, это было предельно ясно и абсолютно очевидно. Настолько очевидно, что ему и в голову не приходило сесть, прикинуть, так оно или не так, обмозговать, прощупать на лакмус возвышенного сомнения как тезу, так и антитезу.

Влюблен он был вроде бы не без взаимности. И по сравнению с тем, что он чувствовал впервые в жизни, научный атеизм вместе с Богом, Дьяволом, воинством Света и полчищами Тьмы, Библией, Комитетом, Церковью, мировыми титанами богоборчества – все это выглядело чем-то несущественным и до странности бессодержательным.

Молодых людей тянуло друг к другу все сильней и сильней. Гелий решил объясниться с Веточкой в бассейне «Москва». Водная среда, подумал он, сообщит их телам иллюзию невесомости – качество, принимаемое идеалистами всех мастей, в том числе и многими космонавтами, за пресловутую духовность.

Сошли молодые люди в хлорированные испарения мрачного котлована в час, отведенный для водных процедур членов семей высшей партийно-государственной номенклатуры. Интуитивно чуя увлечения души и заблуждения ума Веточки, Гелий начал издалека и сказал, лежа на спине, что он – вольтерьянец в истинно пушкинском смысле, но любимая его поэма – «Демон». Ради пущей лукавости и придания ответственному моменту качества полного взаимопонимания он добавил, что здесь, в бассейне, всегда являются на ум изумительные строки начального библейского стиха: «…и Божий Дух носился над водою…»

Затем как бы для рекламы своего знания Лермонтова – у Гелия наш гений ходил в стихийно демонических богоборцах – он процитировал шутку одного знакомого охломона, работавшего в отделе оперетт Минкультуры СССР: «В струях Арагвы и Куры сидел в „Арагви“ и курил».

Веточка засмеялась и сказала, что самое ее любимое стихотворение в поэзии всех времен и народов – «В больнице» Пастернака.

Гелий не знал этого поэтического шедевра. Имя поэта, перед смертью злобно пытавшегося, поговаривали в редакции «Науки и религии», свести на нет работу научного атеизма, приводило его во вполне понятное бешенство. Однако он сказал: «Читай, слушаю».

Впоследствии, особенно в моменты алкоголического обострения всех чувств и в совершенно тупой тоске похмелья, он не то чтобы вспоминал – он вновь воспринимал каждым своим нервом все случившееся тогда в бассейне «Москва».

Причем вспоминалось все это в таком пронзительном свете, безжалостно реанимирующем в пространстве воспоминания полный набор самых малейших подробностей, вплоть

до мелкого плеска воды… хлорки, опекающей здоровье водоплавающих масс и напоминающей своим назойливым смердением странный запашок под одеяльцем после первой поллюции и тот ужасный ночной переполох души и тела, не дававший уснуть до утра… вплоть до шкодливо брошенного в воду окурка «Казбека»… вплоть до записки, повешенной на дверце его кабинки: *«Нашедшему фирмовый бюстгальтер железно обещано интимное вознаграждение»…* и кишение, кишение, кишение нечисти ненавистной… – в таком вспоминалось все это пронзительном свете, что действительность, угодливо каждый раз предоставлявшая место этому воспоминанию, казалась жалковатой, искусственной его тенью…

Когда Веточка еле слышно заключила чтение «ультрарелигиозного сочинения поэта-иуды» дивными строками *«Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень в футляр»,* Гелий уже собрался притворно произнести нечто нейтрально-лукавое или просто отделаться многозначительным молчанием.

Как вдруг, с ужасом убеждаясь, что в нем не осталось ни пузырька собственной воли, что вышла она вся из него и даже булькает вокруг, как булькает воздух, вырывающийся в воду из внезапно лопнувшего матрасика, вдруг замахал он в бешенстве руками, забил по воде ногами, хрипло вдруг, хамски и передразнивающе, вроде бы и не своим вовсе голосом, завопил, точнее говоря, завыл: «Ды я в гра-абу вида-ал… пе-е-рстень… в фу-утля-я-ре… в граа-бу-у… ка-акой там па-а-дарок?… какое на хрен изделие?… кто там нам его, понимаешь, да-а-арит?»

В котловане произошло вдруг то, чего не могло произойти по всем законам природы в надводной среде, отягощенной испарением и исчадливыми миазмами хлорки. Миазмы эти, спирая колебания звуков, должны были бы с садистическим педагогизмом не допустить детской их игры с самими собой «в эхо». Произошло вдруг в котловане акустическое чудо. Хамски глумливый вой Гелия вдруг обрел такую театрально-концертную объемность и артистическую чистоту, что у него самого от ужаса и растерянности глаза на лоб полезли.

Его как бы вдруг парализовало. Он совершенно странным образом не шел на дно, но и не мог броситься «бабочкой» к Веточке, чтобы предотвратить непоправимое, чтобы интеллигентно сказать ей, что Бога, видимо, нет, хотя, возможно, Он имеется… Во всяком случае, сам он не верит в его существование, но все же считает, что исключительно из почтения к законам языка слово «Бог» должно писаться с большой буквы даже в «Вечерке». «Дико, дико, дико, Веточка, было бы рассориться из-за такого обскурантизма Пастернака… хотя с метафорами у него – нормалек, о'кей… если хочешь, сейчас же куплю я у „кепок“ гвоздику… положим букет на порог его дома… это же тут, в двух шагах от бассейна, на Волхонке…»

Но девушка, совершенно потрясенная троекратно повторенным эхом хамского воя, плыла уже… уплывала… уплывала навек к стальным перилам сходной лестницы…

Плыла она тогда и потом, много лет спустя, уже в памяти несчастного Гелия, с необыкновенной, с неестественной быстротой. В движениях ее тела определяюще учуял он тот ужас, с которым мы спасаемся в сновидениях от преследования омерзительного монстра.

А сам он, ничего не понимая, вглядывался в прыгающие, в скачущие по взволнованной воде странные грязно-зеленые фигурки полупредметиков-полусуществ, и внутри каждого из них, как в слабительных виноградинах, наполненных касторкой, подрагивала какая-то мерзкая, тяжкая, зелененькая сгущенка.

Это была первая его встреча с теми, кого он сразу же обозначил в уме как демонов, демонков, чертиков и прочих мусорных типчиков.

6

Гелий не мог вспомнить, когда выбрался он из бассейна, с чьей помощью обтерся, как оделся, как вышел на набережную, носящую имя знаменитого анархиста, и как потом оказался в ресторации Дома литераторов.

Было совершенно ясно, кто именно заставил его – человека почти непьющего – начать в том заведении поддавать. Никаких у него не было тогда сомнений, что личность его находится на попечении целого сонма смутных, серо-зелененьких чертяк-официантиков, которые прыгали по дивным резным перилам, полоскались в солянках сборных таежного дуба М-ва и партийного скунса В-о; пробирались внутрь котлеты «киевской» модернового певца ленинских мест Вознесенского; сидели на мельхиоровом краешке судочка, лапки свесив лягушачьи в черную зернистую икорочку безумно разбогатевшего на песенках Рождественского, или писали пенисто и желтенько в «Нарзанчик» прилежной воспевалки Ильича, Воскресенской…

Был для Гелия какой-то издевательски глумливый душок в сношениях шоблы чертей именно с носителями, так сказать, евангельских фамилий… Почему-то колупали бесенята корочку пирожка слоеного на тарелке способного бильярдиста К-ва, демонок кидался мучнистыми крошками калача в гиеноподобную физию стукача Л-го…

Если бы не натуральный страх прослыть чуваком с «протекшей крышей» и оказаться в дурдоме, то после всего, что с ним только что произошло, Гелий с пеной на губах доказывал бы всем этим своим корешам и собутыльникам, что бесы существуют в объективной реальности, данной нам в ощущении, как обожал говаривать Некто, весьма смахивающий внутренне и внешне на одного известного ответработника, руководителя преисподней.

Это они, утверждал бы Гелий, сорвали нашу помолвку. Они опохабили связь двух сердец. Их психотехнические возможности безграничны. Они тайно подключились к моему сознанию. Бесы вложили в мои уста неосторожный вопль насчет проклятого этого перстня в футляре. Дайте чистый лист бумаги, и я изображу, вернее, обезображу с точностью до одной ухмылки, до одного рожка и одного копытца призрачные фигурки бесов, копошившихся тогда в бассейне, как килька на метании икры. О-о-о! Они возникают крайне редко, но они есть. *Его* нет, а *они* – есть! Есть! Вот в чем проблема проблем и теория относительности в атеизме. Это же гениальный маневр – отвлечь научный атеизм на борьбу с *тем,* кого вовсе нет, а *их* оставить в покое и, в крайнем случае, отдать на откуп психиатров и наркологов…

Пил он тогда по-черному. Пытался человек заглушить в душе чувство, которое – это было предельно ясно – уже никогда его не покинет и которое – исключительно из-за неприученности ума к фиксации в слове всего в нашей жизни анекдотического, трагикомического и необратимо ужасного – он не сумел бы сам для себя обозначить как чувство смерти любовного счастья.

Повеситься в сортире ЦДЛ XXXXXXXX[1] он не смог. XXXXXXXXXXXXXXX[2]

Хохот паскудных типчиков был столь же скрежещущ, шлепкообразен, шумен и явно шаловлив, как в бассейне. Мало того что Гелий сорвал ремень с трубы, он еще и вляпался в кучу дерьмеистового сталинского жополиза Чуева. Все это явно не спустил в канализацию всей страны – в знак протеста против введения в Прагу танковой доктрины Брежнева – Евтушенко, который искренне восхищал Гелия своим странно безнаказанным, ну просто-таки гениально комфортабельным фрондированием.

Гелий возвратился в таком вот виде в зал. Некоторое время подозрительно и сурово вглядывался в лица закусывавших и выпивавших критиков, писателей и поэтов, верных помощ-

[1] Скрыто по настоянию цензуры

[2] Скрыто по настоянию цензуры.

ников партии, как бы выискивая среди них виртуозно и прибыльно инакомыслящего Воображеньку-Евтушеньку, чтобы выяснить с ним отношения – раз и навсегда.

Потом невероятно глупый и полуслепой певец незадушимой дружбы молодежи бросился к нему гуняво лобызаться. А студент Литинститута, паренек с Урала, будущий инструктор агитпропа ЦК, угодливо подтер Женькино дерьмо свежим номером «Молодого коммуниста».

Наконец, знакомая, пожилая, но весьма сексапильная дама из ИМЛИ бросила своих собутыльников и похотливо вывела Гелия из зала под похабные лозунги и пакостнический смех одного литературного критика. Налакавшись, критик этот всегда почему-то начинал убеждать Гелия, что «верить следует не в Бога, а только в Человека, разумеется, русского, но, разумеется, в общечеловеческом смысле, чтобы лишить евреев их главных шулерских козырей – самоизбранности и лжемессианизма».

С вынужденным юморком превозмогая брезгливость, филологическая дама разула и до трусиков раздела Гелия в скверике перед высоткой. Вроде бы даже успела доставить ему там – в порядке увертюры, как она выразилась, – одно чрезвычайно острое удовольствие, на миг перебившее в мозгу скверное и стойкое смердение жизненной драмы. Затем довезла его полуголый полутруп на такси до дома. Он прорыдал всю ночь на пышнейшей груди этой филологини-мифологини.

Было для него нечто симптоматичное и абсурдно-дьявольское в таких вот ночных поминках по умершей любви. Безусловно, думал он, все это сконструировала та же самая бесовня. Ни случай, ни враждебный человек не смогли бы изобрести для него такое изощренное безобразие – ночь после жизненного обсера с пожилой нимфоманкой, которая, по слухам, имела в комсомольском возрасте постельную связь с нашим мифологизированным писателем-паралитиком. Похабно-анекдотическая версия этой связи называлась в ЦДЛ «Как закалялась мадам де Сталь»… Выпроводив даму, Гелий весь день страдал от тоски обреченности на тупое, безлюбовное существование и от полного своего бессилия решительно с ним покончить. Но попытки повеситься или отравиться больше не предпринимал. «Будем премило спиваться, – тогда же сказал он сам себе, – и в облаке кайфа проследуем в спасительное Ничто».

7

Бывшую свою возлюбленную он никогда и нигде больше не встречал. Позвонить ей он не мог точно так же, как не мог бы позвонить покойнице, вернее, точно так же, как не сумел бы покойник окликнуть из-под могильного холмика живую прохожую.

Он стал тихим, респектабельным алкашом. Функционировал временами, причем самым казенным образом, в постелях дам богемно-гостиничного типа. Считался оригинальным светилом научного атеизма. Держал на паях еще с одним философом чуть ли не кафедру в Академии общ-наук при ЦК КПСС.

Его часто приглашали на роль высокооплачиваемого консультанта фильмов по произведениям Гоголя и Достоевского, в которых как-либо персонировали нечистые силы или активно действовали лица, верующие драматически глубоко и искренне.

Он часто выезжал за рубеж с различными делегациями. У него имелось там реноме солидного религиеведа, автора монографий и прочих печатных трудов. Так что он вполне мог себе позволить не пользоваться самыми изощренно убойными аргументами научного атеизма, сквозь нищие прорехи которого неприлично обнажается плебейство ума и духа, вызывая в людях неглупых и аристократичных неловкость за публичное самоосрамление человека.

Ему достаточно было, скажем, в дискуссии о Плащанице Христовой пожать плечами и плюралистически корректно улыбнуться – и с ходу яд окончательного сомнения в подлинности посмертного одеяния распятого Спасителя проникал в мозги людей, интеллектуально колеблющихся.

Да что уж говорить о колеблющихся! Благодаря таким вот отработанным манерам публичного поведения маститый, но невежественный – в силу изначальной глупости атеизма – религиевед выглядел временами даже в глазах зарубежных высокоученых иезуитов и отечественных наших, подпольно и кухоннорощенных богословов фигурой в высшей степени тактичной.

Еще бы! Всем своим видом он как бы призывал к милосердию и благородству по отношению к Тому, Кто был и им лично низвергнут в пыль и грязищу объективной реальности после успешного штурма Небес.

Все это выглядело в глазах верующих либералов явной симптоматикой неофициального признания статуса существования Бога, находящегося в, безусловно, временном, земном плену у бесовской власти Князя Тьмы как бы на почетных правах Наполеона или фельдмаршала Паулюса.

Все было, одним словом, о'кей у нашего героя, при взгляде на него со стороны.

Роковые последние строки Пастернака насчет *изделия* и *перстня в футляре,* над которыми он смачно глумился в бассейне, буквально ни разу за все эти годы не возникали в его сознании, словно это были не строки, а смертельные, шальные пули, навылет пробившие душу… Пробили, оставили ее, кровоточащую, в одиночестве, а сами равнодушно исчезли в необозримой мировой пустоте…

Странный факт необыкновенно быстрого превращения спортивно-моложавой внешности Гелия во внешность очень рано увядшего, хотя и импозантного человека знакомые и коллеги приписывали действию на его нервы вечной печали оплакивания смерти родителей или же чрезмерно неразумной истасканности в пустыне холостого одиночества. И никто, естественно, не знал, что в нем поселился однажды и никогда уже не покидал его существа тоскливый ужас мгновенной смерти любви, объявший его тогда, в хлорированном аду бассейна.

Надирался он на вечно горестных этих поминках так респектабельно, что никому и в голову бы не пришло заподозрить его в мрачных запоях и почти ежедневных поддачах. Тем более, он убедился, что от него никогда не разит сивушным перегаром, причем не разит

самым странным образом, вопреки всем буйным бесчинствам химических веществ в похмельном организме пьющего человека.

Конечно же, Гелий не мог не соотнести явление это с воздействием на свою личность – с того самого злосчастного момента в бассейне – нечистой силы, угодливо опекающей его трижды проклятую жизнь и никому ненужную карьеру.

На людях Гелий выносил присутствие нечистой силы стоически воспитанно. Правда, некоторым дамам гостиничного типа казалось иногда, что их партнер начинает во время полового акта как-то странно и зловеще угрожающе вращать глазами, напоминая собаку, обеспокоенную назойливой мухой, звенящей перед самым ее носом в момент интимного обгладывания мозговой кости.

Но дамы эти никак не сумели бы внимательно проанализировать свои впечатления по причине неудержимого своего стремления к возвышенному, нигде не торжествующего над мелкими помехами жизни и быта с такой замечательной силой, как в случайном половом сношении гостиничного типа.

Надравшись в полном одиночестве, Гелий или садистически мстительно – фотографией какой-нибудь иконки – изводил ненавистных чертенят, бесенят и более крупных по размерам демонков, или разглядывал их с такой страстной пытливостью, намного превышающей самую невыносимую гадливость, с которой дети разглядывают пауков и мокриц.

Это были вполне материальные типы-одиночки и толпы типчиков разной конфигурации. Причем все эти антитвари были столь вертлявыми и так в своей вертлявости изгиляющимися, что зафиксировать конкретные черты их внешности либо в моментальном наблюдении ума, либо во вместительной памяти было совершенно невозможно.

Иногда все они казались лишь игривыми самоуплотнениями воздуха, принимавшими разные формы и менявшими цвета, но всегда оставляя доминантными грязновато-зелененькие тона в своей капризно изменчивой расцветке.

Иногда, наоборот, всех этих типчиков можно было счесть за странные дырки в сложенном, словно бумажный листок, пространстве – за разнообразные дырки, вырезанные быстро снующими ножничками гриппующего ребенка, убивающего время болезни, а заодно и жизни. При любом развороте многократно сложенных бумажных плоскостей вырезанность эта неровная и случайная превращается вдруг, благодаря волшебному моменту обретения симметрии, в несколько законченных конфигураций с причудливой изломанностью оформляющих пустоту дырок. Вот они-то, непонятно почему, часто приковывают к себе внимание не только детишек, но и натур одиноких, инфантильных.

Само собой все омерзительно навязчивые фигуранты нечистой силы были Гелием классифицированы и наделены в зависимости от их похабных склонностей и выполняемых обязанностей соответственными званиями, а иногда и фамильярными кличками.

И хотя милостивое, временами слишком даже предупредительное отношение к нему типчиков было несомненным, хотя без явного их участия не было бы у него никаких выездных и локальных удач, сделок, знакомств, связей, приобретений и так далее – Гелий с вызывающей неблагодарностью глумился над всеми чертями и бесами, попадавшимися ему под руку.

8

Например, ловит он совсем недавно в ненастный предпраздничный вечер такси, когда поймать сей антинародный экипаж почти невозможно. Если удается словить его какому-нибудь человеку, потрясенному столь необычайным везением, то он искренне относит редкое это явление непосредственно к области чуда, а не к случайным проблескам человечности в трижды проклятой вечной мерзлоте советской сферы обслуживания.

Ловит Гелий такси. Многие «безлошадные» писатели с милыми окололитературными девками или же с законными подругами жизни, отчаявшись, разбредаются из ЦДЛ пешим хлюпаком по слякотному снегу.

Доносится до Гелия из живучей очередищи эхо писательских склок и нервных недоумений насчет беспросветности перспектив жизни творческих работников в скором будущем.

Кто-то из богатеньких халтурщиков, «полиглотов внутрисоюзного значения», сетует на распад имперской дружбы народов, повлекший за собой крушение *«института переводных кормушек, поскольку этот ничтожный соловей генеральских портянок, Проханов, постановил считать переводчиков с украинского, чеченского и татарского платными русофобами»… «Ну, Козел-то, потом про-смердевший бздилогонным, до конца дней напереводил предательской Чечни и прочих чучмеков»… «Книжный рынок, господа, быстро прояснит, кто есть кто»… «Хватит вам, господа ленинианцы, шестерить вонючей партии в бесплатных домах творчества и мельтешить номенклатурными мандавошками в промозглом паху у соцреализма»… «Дальшевики херовы! Бр-р!»… «Ничего, Боба, Набоков стилистом был и гением почище, чем ты, но, заткнув, говорят, нос, ишачил в бабском техникуме, а разбогател на порнушной «Лолите», потеряв в адском семнадцатом раз в сто больше доходов и барской недвижимости, чем все мы вместе взятые»…*

Московская ноябрьская слякоть уныла, а странные реплики и отчаяние, охватывающее возмущенные души и прозябшие тела писателей, внезапно отключенных от дотаций властительного банкрота, понижают температуру общей горестной жизни совсем до какого-то инфернального нуля.

И вот, после очередной дурацкой дискуссии о парапсихологии в секции критиков, после чудесного обеда в невыносимо гнусном кругу писателей-патриотов, бывших брежневских швейцаролакеев с отличным аппетитом, стоит Гелий смиренно на площади Восстания в очередище, облепленной мокрым снегом и похожей поэтому на огромное беспризорное чудовище-доходягу.

Стоит, не вмешиваясь в разговоры о будущем СП, о провинциальной жадности и патологической склочности нового первого секретаря, из Ташкента призванного глупым Евтухом володеть и княжить СП, а потому и бесхлопотно хапающего привилегии в наплечную суму, причем хапающего обеими руками – словно мифологическая Мамлакат Нахангова на авральной хлопкозаготовке. Пропускает Гелий мимо ушей сетования насчет сгущения социального мрака и отчуждения народа от абсолютов и идеалов. От всего такого заветного, как полагает один критик-сексот, наш народ отвлекают атеисты жидомасонства и прочий банковский монополистический сионизм…

Зеленые огоньки надежды и уюта пролетают мимо, обдавая иногда почти уже безликие части чудовища, составленного из критиков, писателей и поэтов обоего пола, брызгами слякоти и холодом беспримесно-советского – самого издевательского и бесчеловечного в мире – равнодушия.

Критика-сексота, призывающего «всех чистых и нечистых к категорически соборному, нравственно-синхронному покаянию», обрезает на полуслове одна очень известная интеллектуалка, заявив, что, во-первых, члены СП должны и обязаны пропустить сначала Евангелие

через себя, а во-вторых, направить всю свою ныне не оплачиваемую творческую энергию не на безответственный секс во время чумы, а на величайший проект всех времен и народов, то есть на воскрешение мирового запаса мертвецов и на общее наше воссоединение со всеми отцами, врезавшими дуба. Даме кто-то оптимистически возражает, что сей величественный проект начнет вскоре реализовываться естественным путем после приказа Ельцина о либерализации цен. «Да и чего, собственно, огород городить да смущать порядки, установленные небесами и природой, только лишь для того, чтобы предки наши покинули свой заоблачный дивный покой и заявились в этот вот грязный барачный бардак, где нет для них ни жратвы, ни жилья, ни приличной конституции, ни законных прав, ни возможностей достойного приложения талантов. Предков следует пожалеть. Стыдно даже на миг обнажить перед ними зловоние язв нашей дегенеративной постсоветской антицивилизации. Чего их носом тыкать в то, к чему многие из них тоже изволили приложить руку?» – «Ах, с удовольствием начистил бы я сейчас рыло Белинскому с Чернышевским, а Маркса с Энгельсом… да я бы их – бороденка-ми вот в эту нашу блевотину… бороденками…» – «…Мы, извините, от последствий одной экологической и антропологической катастрофы не знаем, как избавиться, а вы нас страстно торопитесь на новый бунт подбить, мадам. Оправдывая, мадам, вековой социальный паразитизм российских поставщиков экстравагантных идеологий, спешите вы плебс, обезумевший от всех этих дел, поднять теперь уже против естественных и Божественных, а не самодержавных порядков. Шли бы вы, знаете куда, мадам, со своей осатанелой идеологичностью? Лучше занялись бы восстановлением полового здоровья народа, а то скоро воскрешать дорогих покойничков будет некому…»

«Этот парень глубоко прав», – думает Гелий, потому что призыв интеллектуальной дамы резко сократить сексуальные удовольствия заметно понизил общую температуру не только окружающей среды, но и без того малоприветливого бытия.

Сама собой вдруг началась драка. Молоденький пьяный авангардист долго уже всячески подколупывал бывшего партийно-комсомольского стихотворца. Почему, дескать, ты, крыса, неоднократно заявлял в своих трухлявых виршах, что партия и комсомол за все в ответе, а теперь вместе с этими подлыми организациями как дерьма в рот набрал, и ничего вы, пропадлины гуммозные, не желаете, сволочи, слышать насчет групповой и личной своей исторической ответственности за пролитую кровь, за изнасилованную культуру, за авансом изгаженное будущее несчастной России и так далее – как так? Мало того что не желаете, кафкианские уроды, быть за все в ответе, так вы же, падлы, на жидов теперь всю собственную парашу вызюганиваете! Они у вас теперь в ответе за все ваши красножопые гнидства! Кентавры! Только заместо человеческого передка у вас – крысиный, а вместо конского – крокодилий, соцреалисты, молодая гвардия, сифилитиком картавым без гондона ебаная на пеньке в апрельские тезисы!

Стихотворец, бывший некогда *за все в ответе,* такого вот витиеватого поношения святынь вынести уже не мог. Ударом под дых он сбил щуплого авангардиста с ног на мостовую, потом, безумно рыча, набросился на него и начал колотить головой о решетку водостока. Никто даже и не пошевелился, ибо наконец-то воцарилась в стране долгожданная свобода политического слова и физических действий. Но стоило Гелию очень сочувственно подумать о искреннем молодом человеке, страдающем под натиском взбесившегося быдла, как парочка солидных чертей – они как бы сами собой возникли из подножной харкотины – бросились на помощь страдальцу. И тот, чертями вдохновленный, не имея, должно быть, сил для хорошего ответного удара, вцепился рукою в довольно беззащитные, как это обычно бывает, гениталии насильника. Вой его был неописуем…

И тут подъезжает, то есть, как бы взбрыкнув перед самим собою, останавливается перед тем сборным чудовищем очередищи свободный шеф. Он брезгливо – на протезном русском с перекособоченными ударениями – орет из кабины: «Кудыпиджачьебля?»

Писатели, критики и прочие литературные артисты, а также их девки и подруги наперебой, предельно угодливо – что понятно в такую погодку, но вызывает чувство неловкости за венценосную природу человека даже в душе тускло мерцающего фонаря, – все эти люди называют места желанного следования. Ни одно из них – ни близкое, ни окольное – не подходит, конечно, жлобскому мурлу таксиста.

Но тут демонок дергает Гелия за язык, и он как бы нехотя произносит: «Клин. Дом-музей Шнитке, флигель Пахмутовой», – так разбирает его вдруг ни с того ни с сего ненависть к изысканному модернизму и невыносимо вонючей комсомолии в музыке.

Жлобина-шеф – сам он родом из Клина, но никто, кроме демонка, разумеется, об этом не знает, – шеф распахивает дверцу такси. Очередища остолбенело изумлена абсурдной непредсказуемостью поведения хозяев наших своевольных транспортных средств.

Первым в райски теплую кабину влетает демонок. Он с хамоватой фамильярностью напяливает форменную фуражку на лоб жуликоватого жлоба. За дерзким демонком туда заваливается Гелий.

Такси рвет к Ленинградскому шоссе, даже и не подумав захватить попутных писателей к общежитию на «Аэропорте». Всех их, однако, сближает согласие насчет того, что дом-музей в Клину принадлежать вот уж никак не может ни великому Шнитке, ни халтурной таксе, безумолчно аккомпанировавшей застою, а также сближает писателей жгучая, согревающая в такую погодку ненависть к везунчику-религиеведу.

Сам религиевед обогревает, в свою очередь, выстуженное нутро сверхциничным ехидством: «Чего же вы еще ожидаете, подонки, после многолетнего штурма Небес вашими плевками? Так-си-па-да? Харкотина мокрого снега – вам за воротники, а не так-си-пад, господа атеисты. Отрицать Божество следует, как я, – с готовностью к любой пакости или же к удачливому вывиху бездушной природы, иначе говоря, с благодарным мерси, черт бы вас побрал, к такси!»

Жлобина-шеф ведет себя так, как себя ведут в подобных случаях не только одинокие граждане, но и многомиллионные толпы людей, попадающие вдруг под неотразимое влияние нечистой силы. Он мчится, сам не понимая почему, в сторону, противоположную бывшей Тверской губернии, хотя давно кончил смену, никак не соотносит места своего рождения с пунктом назначения, а таксопарк его расположен на другом конце города. Со странным седоком он не то чтобы робеет перемолвиться парочкой дурацких словечек – не решается он даже «придавить косяка» на его холеный, барский профиль.

А типчик-демонишка, похожий на волчок зеленой плазмы, то прыгает с руля на ручку скоростей, то выскакивает на ходу на ветровое стекло, елозит там по нему вместе с дворником, растекается, вновь собирается в плазменную лужицу и явно радуется, что угодил подопечной персоне.

И вот Гелий, вместо того чтобы мысленно отблагодарить демонка за лакейскую услугу, берет и натуральным образом, только ему назло, осеняет крестным знамением заоконное пространство перед собою. И безумно хохочет, хохочет, хохочет.

Смешно ему и весело, что бес смущен, что пижоны-писателишки остались желчью исходить под мокрым снегом, что впереди – домашнее тепло, стакан кубинского рома, затем – небытие в провальном сновидении и что таксистское хамло является всего лишь жалкою игрушкой в руках рядовой нечистой силы.

«Стоп, – велит он ему вдруг, – зайду-ка я от-дуп-лить-ся к одной прелестной знакомой». Протягивает похабно гыгыкающему шефу пятерку, с которой мудила Вознесенский, скорей всего по наивно авангардистской, но тем не менее угоднической глупости, умолял некогда дебила Брежнева убрать Ленина. Зеленоплазменный типчик растекается по ассигнации. Шеф лезет в карман – и опять-таки, подобно многомиллионым массам людей, попавших под обаяние бесов и совершенно не отдававших себе в октябре семнадцатого ни малейшего отчета

в своих роковых действиях, – наносит шеф непоправимый ущерб своему будущему настроению и социальному балансу.

Он сдает Гелию сдачу со ста рубчиков, даже лакейски подобострастно отказывается взять на чай и рвет с места с такой поспешностью, что «Волга» сначала волчкообразно выкручивается перед Гелием на сопливом асфальте, а потом заносит ее прямо на заснеженный газон, и гонит прочь – с глаз долой.

И вновь Гелий неблагодарно смущает демонка словами: «Сгинь, отрава бытия! Сгинь, сучка поганая! Вот как заморю тебя сейчас крестным знамением, уродина!»

Никаких обид, надо сказать, ни один типчик из нечистой стайки на Гелия не держал. Незлопамятство бесов было поразительным, хотя обидных жестов они терпеть не могли и безропотно куда-то смывались, словно понурые домашние животные, когда Гелий начинал их изводить и преследовать.

Наоборот, где и в чем они только не помогали ему, плюя на свое самолюбие! Однажды его чуть-чуть не прибили на еще тайном в ту пору сборище наших национал-фашистов, куда его завел тот самый безобразный критик, который, отрицая Бога, утверждал веру в Человека, желательно в русского.

Гелий сидел, пил, закусывал, смахивал с края стакашка бесенят, слушал омерзенно бездарную чушь этих плебеев и диких выродков русского племени и горевал, что лучшая часть великого его народа полностью, к сожалению, уничтожена за десятилетия безусловно адского эксперимента. А на ее месте рассмерделась такая вот компашка. И ведь патриотами себя, поганцы, именуют.

На что уж Гелия подташнивало от религии вообще да от слов «Бог», «Иисус», «Богородица» и так далее, но и его ужаснули разговорчики угрюмой этой бездари о христианстве как о хитрой жидовской штучке, призванной духовно закабалить арийские народы. В тот раз на сборище обсуждались контуры нового педагогического проекта. Русских детишек предлагалось вовлекать для начала в кружки языческого творчества, где патриотически настроенные педагоги из числа бывших военных с изуродованными перестройкой судьбами будут приучать их резать из дерева древних богов-истуканов, сброшенных агентом мирового сионизма, князем Владимиром, в Днепр.

Гелий пил и слушал всю эту поразительно тупую чушь, ну нисколько не поднимавшуюся до хотя бы ничтожной художественности или до почтения к родной истории и сводившую все без исключения исторические беды России к древнехазарскому экономико-политическому блядству да к нынешнему глобальному заговору финансовых олигархов жидомасонства.

Когда его попросили высказаться, он почти уже не ворочал языком и что-то промычал, но вдруг в нем, помимо собственной его воли, от морд ихних, от явной недоделанности, от ихней логики, унижающей горемычную душу народа и зловонно опошляющей смысл адских народных испытаний, – вдруг возмутилось в нем все сразу: ум, вкус и чувство трагической родной истории. Он и сам мало что просекал в причинах испытаний, выпавших в этом веке на долю не одних только русских, но чуял дьявольский какой-то изворот в причинном сведении всего происшедшего исключительно к хитрым проискам Сиона.

Гелия замутило так, что он как бы вставил в рот пару пальцев, и его вывернуло там перед ними всеми наизнанку. Но он не трепался, не переубеждал этих мокриц, повыводившихся под половицами разрушенного, развалившегося великого некогда дома, а открыто выблевал в морды им следующее: «Я и сам ни в какого Бога не верую, – сказал он, – но я хоть в поучительность судьбы нашей народной еще верю. А вы не верите ни в Бога, ни в Россию, ни в язык ее, ни в культуру, ни в историю ее не веруете, ни в надежду, ни в судьбу – ни во что вы, господа, не веруете. Не веруете даже в Дьявола. А о вере в нормальное будущее России и говорить нечего. Все выходит так, что веруете вы непоколебимо и несгибаемо только лишь в одних

жидомасонов, а это есть немыслимо бесталанный идиотизм… вот вам четвертак за все мною тут выпитое и плохо прожеванное. Мерси, господа…»

Ему дали выйти из дома, а на улице догнали и чем-то оглушили. Очнувшись от боли, он понял, что его метелят эти лакеи очередной лжевеличественной и лженациональной идеи. Метелят безжалостно, распаляясь все больше и больше. Ночь была темна, а закоулок какой-то глухой. Гелий уж с жизнью вполне спокойно распрощался, когда увидел трех человек, бежавших к месту побоища. Впереди них мчалась стайка бесов, похожая на голубовато-зеленое облачко плазмы из американского научно-фантастического фильма. Пришельцы-спасители с непонятным наслаждением набросились на обидчиков и принялись профессионально их колошматить. Потом Гелий узнал, что в этом районе группа жителей взяла на себя функции самосудной охраны граждан от хулиганья и грабителей…

Необыкновенных случаев, в которых оказывались героями либо одиночные мусорные типчики, либо вся бесообразная масса, не перечесть.

Гелий вроде бы и за внешностью своей не следил, сочинять ничего не хотел, ездить с выгодными лекциями ленился, на карьеру плевал, не рвался так уж за бугор, нигде не интриговал, стучать отказался с таким видом, как будто был завербован лично Андроповым и ожидал в глубокой конспирации своего звездного часа, с тем же самым видом сторонился партии – и все ж таки все у него было на мази.

Счет на сберкнижке рос себе и рос, дамы липли к нему сами, истомленно завороженные его неподдельным равнодушием, начальство полагало, что карьерой Гелия Револьверовича ведают высшие чины государства и что служебное его равновесие – всего лишь временный камуфляж иной, значительной позиции.

Он не нуждался в валюте, удачно совершив несколько сделок во время служебных поездок. Благодаря своим связям, налаженным исключительно «всей этой зелененькой гнусеологией», никогда не проходил таможенного досмотра, а пробавлялся коньячком в буфете для важных улетающих персон.

9

Однажды в Амстердаме у Гелия случилась интимная близость с ученой дамой – экзотической религиеведкой. У милой штурмовщицы Небес через пару месяцев обнаружили СПИД. Несчастная интеллигентка, в первом поколении представлявшая на научном конгрессе атеистические силы молодого африканского государства, борющегося в джунглях с тотемными идолами, дала правдивые показания Интерполу, который давно уже шел по сексуальному следу этой роковой дамы.

В ее правдивых показаниях легко всплывали либо фамилии и имена, либо особые приметы партнеров. Именно так всплыли сначала родинка на причинном месте, шрамик под левым соском, а потом и фамилия Гелия. Он слегка обрадовался сложной болезни и неотвратимому ее исходу в самом ближайшем будущем. Это было бы, в конце концов, не худшим из способов избавления от некоторой обрыдлости существования.

В закрытом медицинском учреждении Четвертого управления медицинские девушки с ужасом взяли у него кровь на анализ. В кабинете замминистра здравоохранения – они давно были на «ты» – Гелий уже приготовился рассказать о пикантных постельных подробностях этого драматического заражения крови этой самой современной пакостью, но в тот же самый момент, к большому своему удивлению и, как всегда, явно не по своей воле, опроверг дикий навет весьма, как оказалось, наблюдательной партнерши.

«Бред, старик, – сказал он замминистру, – чепуха! С этой дамочкой у меня не было никаких дел, разве что разговор за бокалом шампанского о садистически-вандальских подробностях неосмотрительного сбрасывания в Днепр по приказу князя, якобы сиониста, Владимира – Перуна, кажется, Долговяза с Простоволосом и прочих наших истуканов. Неужели ты думаешь, что у меня нет в Голландии иных, проверенных рубенсовских телок с клубничными сосками и сливочными лядвиями?»

И первый, и повторный анализы крови Гелия дали отрицательные результаты. Бесы уберегли-таки его в те пару ночей в отеле от заразы, от болезни, бытового позора и медленного полыхания. А главное, науськали на глухую несознанку в беседе с замминистром. Правда, замминистр подозрительно поинтересовался, каким это образом дама, с которой Гелий, по его словам, не был близок, сумела рассмотреть родинку на его, как он выразился, «змее-удовлет-ворителе». Гелий многозначительно и строго ответил:

«Происки спецслужб Запада, а также утечка кое-какой постельной информации за рубеж от моих безответственных подружек».

Он даже хотел было изъявить каким-нибудь образом свою признательность демонишке, который, кстати, озабоченно и как-то намекающе крутился тогда на гостиничной простынке прямо перед носом у Гелия, старавшегося выглядеть в любовных беснованиях достойным представителем нашей могучей Империи. Но непревозмогаемая ненависть к нечистой силе, убившей его любовное счастье, помешала ему произнести даже мысленно слова персональной благодарности демонишке, как-то там помешавшему схватить не только СПИД, но и еще черт знает что. Речь шла, как сообщил замминистра, о шикарном бактериальном букете из феноменальной венерической коллекции пылкой религиеведки. Букет этот уже вошел в золотой фонд новейшей венерологии под названием «ТРИПТИХ-СПИДа»…

10

Одним словом, так бы и просачковал наш герой, опекаемый нечистой силой, до глубокой старости и до самой смерти, ни в чем никогда не нуждаясь. Лишь иногда, с похмелюги, испытывая боль души от воспоминания момента ужасной смерти на его глазах любовного счастья. Он жил немыслимо однообразной жизнью в огромной квартире или на даче, унаследованной после смерти родителей.

Но тут наконец-то переполнила вдруг чашу терпения Самого Времени окончательно уже непревозмогаемая брезгливость. То есть Время публично сблевало вдруг от полного ничтожества и застойной бездарности стратегов штурма Небес, более полувека нагловато считавших себя его – Времени! – Умом, Честью и, главное, Совестью.

Время, прикинув что-то там себе в своем уме, вступилось за свой обгаженный Ум, поруганную Честь и оскорбленную Совесть, да и приметило вдруг в Кремле самого чувствительного и слабовольного из высших наших руководителей. Избранник сей наивно принял рвотный спазм Времени за собственную историческую духовно-политическую инициативу.

Ну и слава ему, как говорится, думал Гелий, за то, что, покорствуя Времени, вынужден был этот незлобный человек и недалекий политик начать припудривание всех ядовитых краснот действительности да своевременно ремонтный шурум-бурум, названный Перестройкой.

Конечно, ему не могло не претить, что сей мало чем примечательный, но все же как-никак избранный самим Временем политик носится за рубежом в спецколяске триумфатора. Тут, понимаете, навалены горы неисчислимых черепов, тут на ваших глазах разворашиваются ужасающие могилы прошлого и обнажаются горестные развалины российской цивилизации, тут еще либо маются за решетками, либо пребывают в неизвестности те, которые перли бесстрашно на бойницы тупой нашей поросячьей власти, а он там триумфально себе носится, а он там себе принимает как должное лавры единственного избавителя человечества от варварского нашествия коммунизма и спасителя собственного народа от самоубийственной бездари коммуняк… «Вот и понимай: безвкусная ли все это глупость матушки-истории или мстительно-уродливая ее ирония над бесславно загубленными мертвыми и душевно выпотрошенными живыми», – думалось Гелию порою.

В те самые времена им овладело вдруг чувство бесконечно тоскливого бессилия, обострившего и так достаточно болезненную раздвоенность умственных настроений.

Релвера воспрянула вдруг не только в своих церковных щелях, где покорно она себе ютилась и елейно лелеяла *того,* с маленькой буквы, *кого* не было и нет, но выпорхнула она бесстыже даже на страницы партийных газет и журналов. Торжествующе и кадяще вновь заняла она и загадила все основные укрепрайоны и насесты научного атеизма, то есть умы, сердца и души миллионов врасплох застигнутых и совершенно растерявшихся штурмовиков Небес.

Раскудахталась-раскукарекалась так нахраписто, словно не сворачивал Гелий релвере этой голову, не обрубал крылья, не ощипывал до малейшего перышка и не осмаливал так, как папа Револьвер осмаливал на участке дачной хазы тушки фазанов первой фазы. Партия этих редких птиц была прислана с острова Мадагаскар тамошними народно-освободительными силами к ноябрьской трапезе членов нашего Политбюро…

Беда победы релверы – так Гелий называл происходящее – ужаснула его необычайно. Он попробовал возвыситься над духовным смятением общества, вновь охмуряемого клобуками, кардинальскими тюбетеечками, бабочками – белыми на черном, чалмами, голыми черепами и веселыми хасидскими пейсиками под старомодными шляпами.

Пытался найти общий язык с толпой, взяв однажды в Доме композиторов ноту скабрезно-вольтерьянскую. Однако он не только резко был осажен левыми и правыми, но и гнусно заклеймен всей этой перетрухнувшей, растерянной публикой в центральной прессе.

Все выходило так, что будто бы в банкротстве кретинов-вождей и в трагической катастрофе нации похабно был повинен именно он и ему подобные безбожные плеваки во всесильные Небеса, а вовсе не преступная партия штурмовиков и не ленинско-сталинская архитектура общего нашего лагерного барака, удобная для жизнедеятельности разве что только красных клопов и прочих бытовых паразитов.

Мол, не плевали бы вы *Туда,* не учили бы если и нас плевать, то, может, и не отвратился бы от империи нашей *Некто,* скорей всего и судя по всему объективно существующий и пристально всевидящий, но почему-то не данный нам в ощущении, в отличие от дефицита, разгула преступности, быстрой смены красной кожи старыми партийными змеями и беспредельного блядства молоденьких повы-лупившихся гадов коммерции и политики.

Глубоко задетый всеобщим оборотничеством, Гелий впал в отчаянную иронию, то есть в состояние постоянного, нетрезвого глумления над действительностью. Тем более средств на многолетний запой, с учетом инфляции, прогрессирующей тупости премьера, соревновательных словесных баталий экономистов с политиками и даже трагического иссякновения источников спиртного, ему, пожалуй, могло хватить до конца столетия.

11

В конце декабря опальному нашему религиеведу позвонили вдруг из посольства Кубы, где он довольно часто поддавал на ревбанкетах.

Спросили, не будет ли он так любезен выступить недели через три после католического Рождества на латино-американском карнавале-симпозиуме в Гаване, посвященном проблемам научного атеизма. Маска – на ваш вкус и выбор. Из мыслящих товарищей и господ ожидается большой друг Советского Союза, нобелевец Гарсия Маркес, наложивший «большую кучу табу» на свою Музу до дня объявления победы социализма на Кубе – острове Свободы.

«Там у нас, – добавили, неловко подлаживаясь под великую идиоматику и фольклоризмы нашего русского, – в тесноте не обидно, тепло, светло, одна сигара – хорошо, две – еще лучше, и мухи не кусают, то есть товарищ Ром – господин, но мыслящий Сахарный тростник – батюшка-матушка».

Гелий понял, что приглашение исходит от видного борца с Ватиканом, лично от самого Фиделя, и что ему на том тропическом симпозиуме уготована ведущая научно-карнавальная роль под какой-нибудь импозантной маской.

Он поблагодарил посольского чина и согласился выступить на одной из панелей весьма престижного, весьма представительного форума.

Лететь он решил на обратном пути через Штаты, чтобы обделать там кое-какие «твердокаменные» делишки с бывшим своим коллегой, обитавшим в Нью-Йорке, под эгидой ООН.

Быстро оформил благодаря старым связям все документы и визы. Достал билеты первого класса, отслюнявив массажистке посла одного афроатеистического государства пару тысяч «памятников деревянного зодчества».

Когда все у него было на мази, он позвонил бывшей тайной любовнице Берии, растленной этим палачом чуть ли не в школьном вальсе, но отвальсовавшим собственную жизнь самым поучительным образом – на своей же производственной плахе, измызганной мозгами и осколками шейных позвонков однопартийцев.

Женщине этой было уже за шестьдесят. Как все дамы, с юных лет мистически тяготеющие к мужчинам и драгоценностям, да к тому же проведшие всю жизнь в коммунистически праздной неге, выглядела она демонически прекрасно.

Гелий никогда не был в постельной связи с этой дамой, поскольку его раздражал не возраст ее, а слишком выдающиеся зубы. Казалось даже, что это и не зубы вовсе, а огромные зубья вставленных в рот двух старинных гребней из пожелтевшей от времени слоновой кости.

Трудно было понять, что привлекло Лаврентия Павловича к этой во всем остальном восхитительной даме. Если Гелию нравилось в какой-либо из дам все вместе – лицо, фигура, нрав, прическа, кожа, размер ноги, интимные свойства и так далее, то уже ничто не могло не понравиться в отдельности, а если не нравилось что-то по мелочам, пусть даже манера пить чай, мазать шершавые руки очень дорогими кремами, притворно вытаращивать глаза на то, чего дама вовсе не понимает, читать во время ужина «Крокодил», курить в постели или засыпать в грустной позе курицы, перепутавшей насесты, то, естественно, было ему тогда, к сожалению, не до остальных прочих прелестей…

Гелий не раз вывозил за рубеж фамильные – так, во всяком случае, она их называла – драгоценности К-ой. Сам-то он, конечно, догадывался, что многие из прелестных «погремушек» преподнесены были даме всесильным палачом, любившим после казней покопаться в скорбном конфискате.

Гелий издавна проходил в Шереметьеве через пункт для особо важных персон, которым абсурдное государство наше всегда доверяло настолько, что каждая из них могла бы уверенно вывезти в невзрачном дорожном бауле любую национальную реликвию – заспиртован-

ную, скажем, наиболее революционную часть серого вещества Ленина; замороженный живчик Сталина, готовый к секретному введению в гостеприимную матку одной голливудской кинозвезды, с детства сочувствовавшей коммунизму; соболью шапку Мономаха или еще что-нибудь в этом же роде.

Что уж там говорить о колье скифской красавицы, вывезенном Гелием и сплавленном затем джентльменами-перекупщиками одному из князей нефтяных недр, или об античной броши жены глупого либерала Саввы Морозова, доугодничавшего некогда на наши головы перед всякими босяками!

Но, по вполне понятной причине, охотней всего Гелий вывозил за бугор старинные миниатюрные предметы религиозного культа. Вынет иногда в самолете из кармана складенек, принадлежавший чуть ли не боярыне Морозовой, и тычет мстительно «изделием» в фигурку возникшего вдруг на подлокотнике и злорадно гогочущего – по вполне понятной причине – демонишки. Тот всполошенно тушуется. Самолет, к удивлению пилотов, начинает ужасно потряхивать.

«Бардак, – тоскливо думает Гелий в очередной раз, – *его,* с маленькой буквы, – нет, а *Они* – есть. Почему? Зачем? Неужели ж вообще никак нельзя без всей этой чертовщины, но при одном лишь уютном полумраке хотя бы всемирного агностицизма и восхитительном пританцовывании высшей математики с формальной логикой?… Хорошо бы вот сейчас взорваться с треском над океаном – и к севрюге, с прилавков давно пропавшей, пойти на дно! Да и сказать там вместе с этой вкусной умной рыбой: пропадите вы все пропадом с народными телепатами СССР, с ужасным графоманом-юристом, двуглавым графоманом Осеневым-Лукьяновым, с амбалом Полозковым, с К-ой, с научным атеизмом и способом принципиально дурацкого существования бестолково-белкового тела Нины Андреевой!»

Самолет тут же справляется с необыкновенно странной дрожью в крыльях. И Гелий понимает, что не дадут ему типчики подохнуть ко всем чертям. Не дадут. Не дай-то Бог, оговаривается он в тоске, если тут попахивает вариантом бесконечного, адского мучения, хотя такое зверство противоречит всем фундаментальным законам науки… За что?…

Одним словом, перед полетом на Кубу К-ая вручила Гелию нечто, завернутое в кусок старой фланели и крепко перевязанное шелковой веревочкой. Сказала, что это изделие дороже ее и его жизней, вместе взятых. Тут же была оговорена доля перевозчика в очередной сделке.

Необходимо заметить, что К-ая бесконечно Гелию доверяла, а сам он тайно был самоублажен наличием в своей натуре чувства деловой чести, что, на его взгляд, неопровержимо свидетельствовало о совершеннейшей никчемности известного числа поповских заповедей.

Про себя Гелий отметил, что заработанной, долевой «зелени» ему хватит на много лет, даже при частых хождениях в валютку за коньяком, лимонами, вырезкой, гусиным паштетом, флорентийской ветчинкой, колготками и прочими мелкими презентиками для дам гостиничного типа.

Решив поинтересоваться перевозимой и столь драгоценной вещицей в самолете, он подумал, что жизнь такая хоть и тошнотворней небытия, но все же несравненно она кайфовей, чем у рядовых жертв перестройки, мающихся полдня в очередищах за немыслимо издевательской пародией на алкоголь.

Изделие он носил все эти дни в кармане. Костюмы, сорочки и галстуки не собирал, решив обновить весь туалет в Нью-Йорке. Было для него нечто в социальном смысле волшебное – улететь вот эдак, налегке, чуть ли не полуголым, но с *изделием* под мышкой и с одной лишь прелестной возможностью прибарахлиться на юге Италии, где не туфли натягиваешь на ноги, а в родственные конурки их помещаешь и где от качества плоти и общего вида сорочки по коже твоей пробегают вдруг мурашки, словно не в магазинчике милом ты в этот вот миг находишься, а валяешься, негою истомленный, на эротической кушеточке массажистки, бывшей филиппинской коммунистки-террористки. Валяешься, млеешь и думаешь, что, несмотря на оче-

видную бессмысленность феномена случайной жизни на Земле, ряд первоклассных удовольствий вполне способен уравновесить мрачную скуку личного существования и всю бездарную абсурдность окружающего мира. Вполне… Плавают еще золотые такие медальки жирка тонких возможностей на поверхности закисающего, захламленного человеком первичного бульона…

В приблизительно таком вот состоянии предвосхищения милых утех и радостных совершенств зарубежного быта Гелий пребывал уже пару недель.

И чем меньше времени оставалось у него до вылета из Москвы, тем острей и инфантильней не терпелось ему сбагрить с рук *изделие,* разделаться со всеми этими делишками, может быть, раз и навсегда, ко всем чертям, наварить бабок, расслабиться в Неаполе или во Флоренции, в тихом отельчике, гульнуть, обмыть навар, отмыться от латиноамериканского научно-атеистического бала-симпозиума, прибарахлиться, прелестную НН прибарахлить… – есть все ж таки во всем таком раскладе дел и в уютном течении дней тончайшее *нечто,* удивительно тебя примиряющее с поганой нечистью и гнуснейшими ударами Рока. Есть!…

Два кг первоклассной паюсной – для поддержки собственных сил и угощения в Гаване полуголодных комсомолок из кордебалета – взяты были за валюту у наследника отцовского партпита на Старой площади.

В тексте выступления на одной из панелей представительного форума Гелий припрятал – словно террористическую бомбочку, пронесенную в самолет, – изящную, как ему в те дни казалось, и не тривиальную для дубоватых схем научного атеизма теоретическую новинку.

Это было убойное доказательство того, что *одно* исключает *другое,* то есть что *его,* с маленькой буквы, нет, а *Они,* с буквы большой, являются отрицательной частью объективной реальности, данной нам в восприятии всех органов чувств, кроме обоняния.

Дело оставалось за карнавально-симпозиумной маской. На Старом Арбате, стоя перед лотком слегка хмельного народного умельца – явно расстриги-инспектора агитпропа из глубинки, – Гелий раздумывал, какой из многочисленных масок, отмеченных, надо сказать, истинным почтением к возрожденному ремеслу, удивить ему всех столпов мирового безбожия, большого друга нашей социалистической Родины, наивного троцкиста, писателя Маркеса и кубинскую партийную публику?

«Кастро наверняка сочтет за инспирированный Старой площадью выпад – Горбачева с красной Кубою на лбу… Ленин? Сталин? Берия? На-до-е-ло!!! У Хрущева ряшка чем-то смахивает на свиной пятак вздорного хряка, не успевшего, на свою беду, схряпать Суслова… Черненко? Тяжкая эмфизема легких нашей Империи… Возьму-ка я самого Леню. При Леньке Фидель жил, как у Люды Зыкиной за пазухой, а может, даже под ее пышным – ха-ха-ха! – сарафаном… Как это параноидная „Память“ не додула, что „сарафан“ – явное жидомасонство в нашей одежде? Кретины… Ублюдки… Один бес сменить другого спешит, дав ночи полчаса… Если и есть на свете сила, способная окончательно погубить несчастную мою Родину, то это, безусловно, тухловато-патриотическая шобла. Не успокоятся, вроде фюрера с Геббельсом, пока все вокруг себя не уничтожат, вместе с бабами и детишками».

По маске физии знаменитого предводителя осатанелых «спасителей Родины от жидомасонов» слишком уж что-то распрыгались в тот момент плюгавенькие демонки и бесенятки.

Гелий поинтересовался, натуральные ли локоны у этого господина. – Даже не сомневайтесь, сударь. У свояченицы двое детишек внезапно облысели из-за сионистских происков окружающей среды. Не пропадать же добру. Пришлось оволосатить затылок видной фигуры современности, – любезно и по-деловому ответствовал негоциант.

Не торгуясь с ним, Гелий брезгливо спросил:

– Из чего, собственно, выполнены брови Брежнева?

– Ужесточенная кошка, а шевелюра – раскурчавленная реактивами изнанка сторожевого тулупа. Поэтому Хрущ – на стольничек дешевле, сударь. Из механических фигурок имеется заводной Черненко, натурально кашляющий. Ильича, картавящего на батарейках, пока вынуж-

ден-с бодать из-под полы. Новое никак не пробьет себе дорогу сквозь все старое, скажу я вам, сударь. Слишком много народу лезет нынче в тесные врата свободного рынка.

– Чего ж цены у вас такие бешеные?

– А вы попробовали бы достать коробки из-под яиц, помочили бы папье-маше в клеистом растворе, формы заскульптурили, шкурок понасдирали с кошек… в период первоначального поднакопительства, когда стараешься уравновесить свой искренний труд с вашим беспредельным капиталом и общественным плюрализмом цен, – бурно разговнился частник-предприниматель нового типа.

– Есть у вас еще один такой кретин?

– Извините-с, вам продан единственный, в некотором роде, оригинал. Остальные – в спецразмочке…

12

Купив маску, Гелий объехал на генштабовской «Чайке» – шеф ее колымил, пока сам маршал обдумывал в компании с коллегами-стратегами былые просчеты в тактическом плане дерзкого взятия одного из проклятых, а главное еще вполне окружабельных, Белых домов, несколько блатных мест, где замечательно отоварился за «деревянные». Он не любил являться с пустыми руками даже к дамам гостиничного типа.

А сегодня, шестого января, его ждала на сабантуйчике в честь православного сочельника одна совершенно необыкновенная особа. Ждала его очаровательная НН.

О ней и о той роковой роли, которую сыграла она в судьбе Гелия, у нас еще пойдет речь.

И какой только снеди не было у него – про запас и для них обоих – в двух картонных ящиках из-под дешевой импортной водки «Попов»! У самого академика Павлова потекли бы от снеди той слюнки.

Что уж говорить о породистых, но трагически бездомных, несчастных и голодных псах, которых, когда Гелий тащился от «Чайки» к подъезду, словно железные опилки на магнит, тянуло на тайно выпорхнувшие из ящиков запашки сыров, калачей, ветчин, колбас и рыбных копченостей!

Может быть, одно лишь благородство происхождения, не выветривающееся из хорошо воспитанных существ даже при погибельно зверском аппетите, помешало им в тот раз наброситься на Гелия по-волчьи, растерзать к чертям собачьим упаковку и растащить баснословные яства по ближайшим удручающе опустившимся закуткам и подворотням. Псы со слезами на глазах проводили те ящики до подъезда, потом безнадежно улеглись возле огромной трубы, великодушно и безответственно делящейся с ними, то есть расхищающей ради них государственное тепло.

Гелий, предчувствуя близость блаженного торжества существования, пребывал в ту минуту в таком настроении исключительного расположения к себе, а также к миру других существ и вещей, что сердечно отнесся и к горячей трубе, тщетно кутавшейся в дырявенький асбест, и к промерзшим собакам.

«Грейтесь, псы, – подумал он с искреннейшим сочувствием, – а ты, труба, расхищай свое тепло налево. Если нам ни до кого и никому до нас нет никакого дела, то не подыхать же теперь всем нам от дебильной беззаботности дурацкого политбюро? Все расхищают всё, и ты расхищай казенные калории ради спасения эволюции клецок жизни, заваренных в первичном бульоне… ха-ха-ха… после палки, кинутой слепым дядей Случаем злоебучей тетке Вероятности…»

Между прочим, обстоятельство вдохновенного соответствия общества людей нового типа категорическому императиву *расхищав* давно и намекающе указывало наблюдательным личностям с обостренным чувством метафизического на существование в природе злодейски тайного, тотального заговора против Советской Системы не только энергично вороватых обывателей, но и всевозможных изделий из неорганических веществ.

Гелий, конечно, не был законченным метафизиком, углубленно внимающим смыслам запредельного, но и он не раз ловил себя на том, что, уходя, скажем, из своего кабинета, автоматически тоскливо выискивает иногда, чего бы это взять да, как говорит народ, спиздить? Его, не нуждавшегося ни в скрепках, ни в копирке, ни в лампочках, ни в граненых стаканах, ни в пробке графина, просто поражала иногда и крайне удручала какая-то непостижимо навязчивая страсть казенного имущества саморасхититься.

Страсть эта не то чтобы чудовищно превышала его желание что-либо вдруг похитить, поскольку его самого и не тянуло никогда к чему-либо такому, – страсть эта как бы насиловала

его волю, резонные возражения и чувство брезгливости, принимаемое иногда некоторыми раздражительными людьми за чувство чести.

Он словно бы попадал странным образом под гипнотическое влияние жалкой писчей бумаги и, непонятно зачем, сомнамбулически уносил домой листов тридцать-сорок. При этом он чувствовал, что бумага делает все, чтобы быть к тому же не только расхищенной, но предельно серой, волокнистой, обветренной, словно рожа взяточника-гаишника, – одним словом, отвратительно и преступно бескачественной.

Видимо, в состоянии босяцкой беспечности или в душке сопротивления самой божественной идее благообразия всего сущего пребывали многие другие опустившиеся советские изделия и предметы. Опустились они до этих состояний и настроений исключительно в знак протеста против бездарного разрушения переделывателями мира естественного порядка вещей.

За неимением лучшего Гелию поневоле приходилось приобретать всякую вещественную шалаву в агонизирующем магазине «Тысяча мелочей».

Ему порою казалось, что, например, купленная настольная лампа разгильдяйски изощренно довела себя до такой мазохистской самоуниженности, а людей, ее изготовлявших, до такой исступленной к ней ненависти, что общее внешнее уродство этого предмета, злобная его неприязнь к источникам питания электротоком да к физическому чуду горения лампочки, то есть явное презрение предмета к единственному своему назначению, могли быть внятно истолкованы лишь в категориях вредительского заговора исходного вещества уродливого этого монстра против знака качества государства.

Порою Гелию думалось, что, может быть, действительно существуют где-то там в преобширной невидимости микромира эти самые платоновские эйдосы – идеи всех вещей, и вот взяли, да и скосорылились от обиды на советскую власть эти самые идеи. А от одного только этого их скосорыленного вида, скажем, бумажник советский выглядит так, словно создан он не для денег и документов, а для мокроты Суслова, Черненко и других кашляющих кремлевских кощеев. Глубокая же столовая тарелка представляется вашему удрученному взгляду, как ночной горшок, неровно сплющенный по какому-то унылому производственному недоразумению или из-за давления сверху Госплана… Вполне возможно, на большинстве производимых изделий просто не мог не отразиться весь бред многолетнего общественного нашего безумия – так что, скажем, калоша или женская туфля предъявляют вам при первом же взгляде, брошенном на эти предметы первой исторической необходимости, не сущностные свои и целесообразные черты, а скорей уж какие-то фантасмагорические маски, наброшенные на замечательные идеи косорылой мужской калоши и многострадальной женской туфли.

Так что дурацким нашим вождям, трезво подумалось однажды вовсе не глупому Гелию, очумевшим от непостижимых вспышек коллективного сопротивления своему режиму некоторых веществ и изделий, следовало бы судить в двадцатые и тридцатые годы не вредителей и не козлов отпущения. Судить следовало прямо все эти платоновские эйдосы и природные вещества, принимавшие еще в зачаточных проектах вредительские формы чахоточных заводов, дохлых шахт, стратостатов «Красный Даун», парализованных ледоходов, вездеходов «Паркинсон», разорительных каналов, самоубийственных ГЭС, паровозов, сходящих с дистрофичных рельс, велосипедов имени Альцгеймера и так далее… Проморгали, товарищи… Надо было всем этим ленинско-сталинским дегенератам довести дело практического богоборчества до победного конца и насильственно большевизировать враждебное природное окружение с тем, чтобы ни один, понимаете, сраный атом никогда уже не смел посягать на священные принципы демократического централизма в области стандарта качества. Тогда бы туалетная бумага не соседствовала с мясом в адской колбасе нынешних апокалипсических времен. Да и трико дамские не натирали бы нежные промежности бедных наших женщин так, что тик у них появляется на милых лицах от усилий по поддержанию внешне грациозного вида…

Впрочем, все советское – значит отличное от нормального, и тут уж ни хрена не поделаешь с этой дерзкой загадкой природы…

Неужели, подумалось однажды Гелию в ужасе некоторого прозрения, неодушевленные вещества действительно сумели, как-то обфинтив ЧК и дьявольски хитрющего Ильича, отреагировать в далеком Октябре на внезапное отлучение обывателя от его частнособственнических, благородных с ними отношений?

Не поэтому ли поганенькая какая-нибудь туалетная бумажонка в учрежденческом сортире – ничтожней которой и одновременно полезней нет изделия на белом свете – просто умоляет тебя немного отныкать ее от рулона, унести отсюда к чертовой матери домой и превратить хоть на время из собственности социалистической в личную твою собственность, если уж тебе так совестно шлепнуть весь рулон целиком. Но ты превозмогаешь типично советское, пошленькое искушение, сумев все же как-то соразмерить свою справочную нужду в дефицитной туалетной бумажонке с нуждою в ней твоих коллег и сослуживцев, не всегда, надо сказать, отвечавших тебе столь же старомодной деликатностью и благородством сопереживания твоих гигиенических движений.

Неужели смогли вещи внушить поголовно всем обывателям, что одна шестая часть света начала в Октябре угрюмо необратимое движение к тем роковым временам, когда, скажем, мужские кальсоны и дамские лифчики не то что тошно будет носить, но они вообще исчезнут однажды, как и прочий ширпотреб, из поля зрения поколений?

Исчезнут, пропадут, уйдут в хитромудрое подполье, начнут набивать себе цену, а потому-то все теперь позволено. Казенное имущество не грех безбожно расхищать, превращая в собственное и безрассудно обгоняя темпами расхищения темпы воспроизведения всего сладострастно расхищенного… Так что же Горбачев этот без толку по воде бьет хвостом, поднимая вокруг тучи всевозможных бесов, когда необходимо в экстренном порядке вернуть обществу людей *собственность и свободу,* насильно отнятые у них в семнадцатом, чтобы не развалились остатки нашего дома до совсем уже помпейского состояния!… Эх, Время, Время, до чего ж дозволило ты нам довести самих себя, что в такой вот критический момент под руками у тебя и у нас не оказалось деятеля порешительней и подальновидней!… В общем, подумав однажды о плодах такого вот развитого заговора обывателей и вещей в масштабах всего нашего псевдосоциалистического государства – заговора, целью которого, безусловно, являлся тотальный дефицит поголовно всех товаров, вкупе с посрамлением мистически всесильного Госплана, – и помножив плоды эти на долгие годы борьбы, побед и силу нарастания неумолимой энтропии в казенной торговой сети, Гелий ужаснулся близости неминуемого краха всей Системы, а может быть, даже и всей Империи.

13

Он ее поминал уже несколько месяцев со странным чувством все того же спортивного боления за нее и одновременно с полнейшим равнодушием к судьбе советского монстра.

Вот о нем он и думал по дороге к НН, решив в ближайшее же время плюнуть раз и навсегда и на него, и на всю эту непотребную туфту современности. Харкнуть с гадливостью, тайно набравшейся в душе за все эти похабные годы, и вообще уйти с головой в тихую частную жизнь. «Благо, средств для этого вполне хватит после сдачи за бугром изделия и получения моей доли в „зелени“… да, сволочь бесовская, в „зелени“…»

Предчувствие чего-то такого небывалого и совершенно чудесного, что должно случиться с ним и с НН именно сегодня, все нарастало радостно в его душе и нарастало. И чтобы умерить странное душевное волнение, которого он давно уже не испытывал в своей тоскливой жизни, Гелий специально заставил себя думать о конечном смраде советской истории.

Обычно мысли такого рода даже пикнуть не смели, даже не смели заявить о своем существовании, привычно ютясь в каких-то там затхлых чуланчиках мозга. Хотя в том, что судьбе родной страны, точно так же, как его собственной судьбе, существенно поднагадила на важном жизненном повороте *нечистая сила,* он с некоторых пор нисколько не сомневался.

«Монстр наш советский, конечно, ухитрился пропить, прожрать, расхитить и изуродовать почти все отныканное им у царской Империи и имперского общества, но, что там ни говори, а все гости были в гости к нам… сравнительный царил на улицах порядок… президент США одной ногой стоял в Белом доме, а другой торчал в атомном бомбоубежище… гений Габриэля Гарсия Маркеса считал нашенского монстра, пусть даже по неимоверной своей глупости, но, как бы то ни было, путеводным светочем равенства и мировым балансиром социальной справедливости… Грэм Грин, черт возьми, на что уж умный господин – и то на моих глазах ссал банкетным кипятком в люстру Большого Георгиевского зала, ибо в волшебном блеске хрустальных кристаллин мерещились ему образы земного рая или какого-то своего, заветного и глубоко личного католического идеала… а ведь ни Маркеса, ни Грина… опять тут зелененькая мразь мельтешить начинает… брысь, сучка, брысь… ну никуда от этой пакости не деться! … ну наглые твари!… не завербовывал Международный отдел ЦК ни Грина, ни Маркеса для публично почтительного отношения к советскому монстру и коленопреклоненного вылизывания его красного гнойного зада».

С этими неприятными поминальными мыслями Гелий поднялся на нужный этаж. За миг до того, как нажать на кнопку звонка, мысли эти враз смыло порывом свежести, дивной переменой душевной погоды, а сердце вновь всколыхнуло сладостное волнение предчувствия чего-то такого небывалого, которое начисто перечеркнет все былое, и тогда… тогда… Он больше не мог оставаться наедине с этим, просто-таки взявшим его за грудки волнением. Позвонил.

14

Дверь ему открыла НН. Нежно уколотое духом хвои, в сладчайше грустное детство оступилось вдруг сердце, окончательно освободившись от сонма гражданских, малосущественных, оказывается, для интимной, то есть личной жизни пристрастий. В столовой блистала празднично наряженная ель. Теплою волной окатило Гелия прямо на пороге обворожительное начало «айне кляйне нахтмузик».

В этой музыке, кроме нее самой, его необычайно вдруг возбудила благородная приправа к ней дамской предупредительности и предельно искреннего, дружеского угождения, на которых, как он считал, порою не меньше, чем на сексе, утверждаются брачные настроения.

Ибо к любимой красоте и к близости с женою можно, говорят, с годами спокойно привыкнуть, а благодарность к ней за истинность ее знания тебя, как себя, – всегда в сожительстве долгом нова и потрясающе неожиданна. Так что волна страсти охватывает, поговаривают редкие счастливцы, одного из супругов или их обоих из-за каких-то бытовых пустяков, незаметных постороннему глазу, и в самых неудобных для этого местах: за столом в ресторане, в самолете, в музее, на улице – в любой, одним словом, точке пространства их общей жизни.

У него сладчайше и нетерпеливо заныло сердце. Вспомнил, самовозбуждаясь, одну из премилых шуток НН: «Брак – это чувство нахождения в полной твоей собственности того, чего у тебя нет». Поставил все принесенные яства на пол.

«Сегодня… сегодня… это должно случиться сегодня, сколько можно тянуть? До разрыва?»

Радостная хозяйка чмокнула гостя в щеку и сразу же отстранилась от него, словно его тут и не было, – нанести последние штрихи на свои кухонные художества.

Что там голливудская красота и открыточная стройность фигур по сравнению с редчайшей в наши дни женственностью, которой веяло от телодвижений ее и каждого жеста! А от запястья руки, игриво сбросившей на пол шапку Гелия, пахло… тестом поспевающим пахло от милого запястья и обещанием умопомрачительного расстегая, во всех возможных смыслах этого обворожительного слова.

– От каких это *попов* такой продуктовый *анти-икра-виат?* – смеясь, сострила НН.

– «Попов» – фамилия русского американца, короля тамошней водяры, – ответил Гелий, вздрогнув от дурного предчувствия, которое, однако, не в силах было омрачить его взволнованного настроения.

Хозяйка между тем оживляла хлопчиком-укропчиком, старушкой-петрушкой картину зимнего интимного застолья. Гелий врезал с морозца полстакана виски и, пожевав балычка с калачиком, по-мальчишески пообщался с елкой.

И вдруг увидел изумрудного папье-машистого чертика, качавшегося на золотом полумесяце. Снял его тайком с елки, бросил на пол и забил носком туфли под диван. Раздражительно осмотрелся. Иной нечисти вроде бы нигде больше не присутствовало. Но зная, что крестное знамение неимоверно ее бесит, взял да и на всякий случай злорадно перекрестил пространство помещения. Перекрестил с таким садистическим аппетитом, с каким принимается за работу палач, в отпуске по ней изголодавшийся.

Затем, предвкушая дивный выпивон с закусоном, беседу и то, ради чего он сюда сегодня явился, засмотрелся на НН.

Мозаичность ее генов вызывала во внешне интересном, но вяловато похотливом Гелии необычное возбуждение ранее незнакомого чувства. Во всем холеном теле НН Гелий почувствовал замечательно несокрушимую имперскую цельность. Вообще, приглядываясь к НН, он почему-то вновь неуправляемо переживал боление за сверхдержав-ность «первого в мире све-

точа коммунизма» и даже за былые ужасные фиглярничания староплощадных клоунов на грязной международной арене.

Иногда они, после *всего этого,* мило разглядывали в постельке родословное древо НН, составленное шустрыми магами одного кооперативчика *«Корвет»,* что означало *корни – ветви.*

Так вот, в теле НН представительствовали минимум пара дюжин национальных составляющих нашей Империи. Причем и в своенравном душевном орнаменте подруги Гелия, и в роскошном ее теле чьих только не было экзотических генов, уважительно прослеживаемых по линиям самых далеких, не говоря уж о самых близких, предках!

Немец, цыганка, татарин, грузин, узбечка, литовец, запорожец, таджичка, китаянка, снова немка, азербайджанка, армянин, венгр – всех дивных, разноплеменных частей поистине не перечислить.

Но то, что не представительствовало в драгоценном и редчайшем этом живом наборе ни одной еврейской прожилочки, казалось Гелию странной, анекдотически юдофобской загадкой истории этого рода.

А уж то, что на шикарном родословном древе этой дамы – вообще непостижимым каким-то образом – не нашлось ни ветви русской, ни случайного сучка, то, что смогло все это случиться в наше время на, так сказать, определенном совокупительном имперском пространстве, – казалось Гелию скрытой русофобией, как принято нынче выражаться в расхристанных толпах якобы затравленных псевдопатриотов, из-за бессмысленной, видимо, зависти решивших «догнать-перегнать-побить мировой рекорд» униженности, тоски и обиды еврейского народа – народа, веками действительно гонимого.

«До чего же не величественно, – возвратился Гелий к своим навязчивым мыслям, – подыхает грандиозная Империя, до чего же пошло врезает она дуба! Всякая бывшепартийная шобла самостийно поднимает чубатые головы. Украина сама загоняет шевелюру в петлюру… Ватикан отхряпал у нас жирного угря Литвы, и наглеют на Трубном мимозы кавказского пленника… Вообще весь Кавказ тикает от нас со скоростью триста Шамиль в час… вся и все просираем на каждом шагу, у Времени в долгу… Татары решили отыграться на бегу за мощный удар Донского по монгольскому игу… Глядишь – завтра Еврейская автономная область выкажет Центру суверенно обрезанную фигу… Спрямленно-раскурчавленная, одним словом, реактивами изнанка сторожевого тулупа… Бездарное, срамотное банкротство… Не история, а полная партийноговна панама Беломорканала… скудно журчащий в арыке арала суэц… иссык-куль задристанного гуд-байкала – и ничего более… Нет, чтобы, понимаете, рухнуть, подобно эллинам или империи Римской, под звук обвальный античных руин, каждый кусочек которых станет со временем дороже золота!… Что от тебя останется народам и ихним музеям, дебилоголовая ты моя Империя?… Макеты маршальско-генеральских поселений и половых комсомольских саун, измызганных бездарной янаевской спермой?… Переходящие в маразм знамена?… Дебильная эстетика амбально огромных офицерских фуражек?… Оловянная миска лагерная, должно быть, дрожавшая в руках каторжника несчастного, когда выскребал он ложечкой на ее дне вопль души, отчаявшейся и добитой: *„будьте вы все прокляты в веках, красные людоеды“?* Дал я за нее пять долларов полуголодному старикану… на Лубянке, возле мемориального камня… Н-н-да-с… Я в тебя верил, Империя. Верил не в него, с маленькой буквы, а в тебя, сволочь. А теперь – провались ты пропадом в трупном своем политико-административном делении, ибо сама, сука, не живешь и другим народам жить не даешь, в том числе и русскому моему, в сардельку спивающемуся племени… Главное, судить некого. Кого судить-то, если все за всё в ответе, а отвечать некому?»

Гелий врезал еще рюмашку виски, ничем даже его не занюхав, – такой крепкодействующей и горькой была его досада на очевидную сверхнелепость этих семи десятков лет, насильно вбивавших в историческое сознание века мысль о своем первопроходческом, штурмовом величии.

«Н-н-да-с… провались… дай всем пожить частной жизнью… хватит лично мне вяло-гамлетически мямлить над ромашкою: люблю или не люблю?… Должно быть, наличие любви столь же доказуемо и равно столь же недоказуемо, как существование Господа Бога. Очень это странно, что, не веруя, можно замечательно существовать, а совместная жизнь с дамой без любви – намного хуже ада… И что бы там ни говорили, доказывать, что *его* нет и быть не может, гораздо интересней, чем бездоказательно долбить: есть, есть, есть! Подтверждений наших аксиом – на каждом шагу, а в пользу „небесных гипотез“ – во всяком случае, при анализе истории нашего похабного человеческого рода – что говорит? Ничто! Чистое, абсолютное Ничто… Между прочим, эта прелесть перед *ним* откровенно трепещет… тут надо быть начеку… надо просто любить, любить и любить, а не мямлить… это же подарок жизни несчастной моей судьбе… А вдруг?… Нет, бесовня любовь не дарит. Она ее, сволота, планомерно уничтожает… Люблю… люблю… Правильно сказано: не можешь поверить – рискни, ибо рискуют для того, чтобы поверить… и вообще, как бы это взять да подзалить извилины проклятого, вечно сомневающегося разума эпоксидной смолой, чтобы слегка оперся на нее, что ли, этот гамлетюга и серый стюдень… или опору хоть какую-нибудь втемяшить в него… это же сверхдико – когда разуму нашему буквально не на что опереться в изматывающих душу сомнениях и раздумьях… верить только потому, что это абсурдно? Извините, но сие не для меня… представляю, что за жена была бы у меня, если б я руководствовался этим безумным принципом в вопросах брака…»

Гелий отвлекся вдруг от всего такого неразрешимого, сглотнул слюнки и потер руки, поскольку не мог не обратить внимание на эллипс блюда с заливным язычком, откуда глазели на него ярко-желтые яичные очи с красивым разрезом голубоватых белков…

«Все – решено, сию минуту объяснюсь, предложу, то есть попрошу руки, и заделаем мы тут, господа, безо всяких этих ваших предохранений листочек любого пола, привьем себя – беспризорного русского – к этому восхитительному, загадочному интернационалу, чтобы дитя играло у гробового входа на гармошке „пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа“, точней говоря, „однозвучно звенит колокольчик, а до-о-рога-а-а“…»

И только он так подумал с залихватскою, с русской, счастливой тоской и решился, и уже встал с дивана, подзаведенный шотландской сивухой и гением народной песни, чтобы сначала на миг прильнуть губами к смуглой, еще не потерявшей загара ключице, на светлом донышке которой хранилась телесная прохлада даже при долгом стоянии НН у горячей плиты и в жарком пылу любовных дел, а уж потом… – как звякнул вдруг дверной звонок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.